

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
В ПЕСКЕ И СЧЕТЕ.

(Композиция напечатана в сокращении).

## КЛИО

Падали ниц и лизали горячую пыль.  
Шло побежденных — мычало дерюжное стадо.  
Шли победители крупными каплями града.  
Горные выли потоки, ревела душа водопада.  
Ведьма истории? Потная шея. Костыль.

Клио—к тебе, побелевшей от пыли и соли!  
Клио, с клюкой над грохочущим морем колес,—  
шли победители—жирного быта обоз,  
шла побежденная тысяченожка и рос  
горьких ветров одинокий цветок среди поля.

Клио с цветком. <sup>старуха</sup> Голубая долина,  
Клио с цевницей и Клио в лохмотьях тумана—  
словно клонимая ива, шевелится длинно и пьяно,  
всех отходящих целуя— войска и народы,  
и страны—  
в серные пропости глаз или в сердце ослепшее  
глин!

---

## ГРАД

Светло-пасмурно в небе.  
Ослепительно-зелены крыши.  
Лупит град по суглинку канав.  
Так покорна вмешательству свыше  
глина жизни— и вязнет, и лепит  
самое себя, тайно поправ.

самое себя. Град поднебесный  
тяжкой обувью почву истопчет,  
но в даруемом свете легка,  
вся лежит она, словно бы сводчат  
потолок в этой горенке тесной,  
в этой келье свечной языка.

Чудный град отворен летописцу:  
Ослепительно-зелены крыши.  
Слепки капель на глине живут.  
Так, наверное, клинопись дышит  
в удлинненном желаньи напиться  
ледяными шарами минут.

---

## ЛЕТОПИСЕЦ

От сотворенья мира, скудных лет  
шесть тысяч с хвостиком. И так, хвостато время!  
как пес незримый бродит между всеми.....  
Шесть тысяч лет, как дьяволово семя  
взошло тысячелистником на свет.

И наблюдая древнюю игру  
малейшего худого язычка  
чадящей площадки с тьмою, чьи войска  
пришли со всех сторон, свалились с потолка,  
прокрались тенью к белому перу, -

запишет летописец в этот год,  
обильный ведьмами, пожарами и морем,  
желанное пророчество о скором  
конце Вселенной..... Трижды крикнет ворон, -  
запишет, "Господи" - и счастливо умрет.

Шесть тысяч кирпичей связав таким раствором,  
что крыса времени источит самое  
пещерной пасти воинство-зубье,  
кромсая стены, - инобытие  
примет глина, ставшая собором,

где в основаньи- восковой старик,  
истаявший, как свечка, в добром деле,  
как свечка- утром видимая еле -  
как бы внимательно на пламя ни смотрели  
глаза, каким рассвет молочный дым дарит.

## ФЛЕЙТА ВРЕМЕНИ

О времени прохожий сожалеет  
не прожитом, но пройденном вполне,  
и музыка подобна тишине, —  
а сердце тишины печаль не одолеет,

ни шум шагов, бесформенный и плоский.  
Над площадью, заросшею травой, —  
гвардейского дворца высокий строй,  
безумной флейты отголоски.

Бегут козлоподобные войска,  
и Марсий-прапорщик, играющий вприпрыжку.  
Вот музыка, не отдых, но одышка,  
вот кожа содранная — в трепете фляжка.

Прохожий — человек партикулярный —  
парада прокрадется стороной . . . .  
Но музыка, наполняясь тишиной,  
как насекомое в застылости янтарной,

движенье хрупкое как будто сохраняет,  
хотя сама движенья лишена . . .  
Прохожему — ремни и времена,  
а здесь возвышенная флейта отлетает!

И зов ее, почти потусторонний,  
ее игла, пронзающая слух  
в неслышном море бабочек и мух,  
на грядках рекрутов, посаженных в колонны, —

царит и плачет, плачет и царит!  
И музыки замшелый черный ствол  
в прохожего занозю вошел,  
змеей мелодии мерцающей обвит.

---

Дети полукультуры,  
с улыбкой живем полудетской.  
Не о нас ли, сплетаясь, лепные амурь,  
на домах декадентских поры предсоветской

сплетничают — и лукаво  
нам пальчиком тайным грозятся,  
словно дом наш-совсем не жилье, но сплошная  
забава!

Расползается пышно империя. Празднично гибнет  
держава.

Камни держатся чудом, подозрительно окна  
косятся.

Мы тоже повесим Бердслея  
над чугунным, баварской работы,  
станом грешницы нашей, змеиноголовой пчелы —  
Саломей,  
наполняющей медом граненные комнаты — соты!

Так же пусто и дико  
станет в комнатах наших. В подвалах  
дома, что на Гороховой, красная брыжжет  
гвоздика,  
расплескалась по стенам... И сам губернатор,  
гляди-ка,  
принимает гостей запоздалых.

Милорадо~~вич~~, душка,  
генеральским звенит перезвоном  
многочисленных люстр— или это проезжая пушка  
сотрясает и Троицкий мост и Дворцовый? Церковная  
кружка,  
на строительство божьего храма упала копейка с  
поклоном.

Так, помянем усопших

в золотистом и тучном модерне!

Не о них ли в чугунных гирляндах, в усопших  
льется мед нашей памяти, мед наш вечерний?

Наших жизней, вчерне пережитых полвека назад,  
вьются темные пчелы— сосут почерневший фасад.

---

## КАССАНДРА

В зеркале бронзовом дурочка тихая, дура  
 видит лицо свое смутным и неразрешимым:  
 палец во рту или брови, сведенные хмуро.  
 Тише, мол, ежели в царстве живете мышином.

В даль бессловесную Греции, с красным отливом,  
 с медною зеленью моря, уставилась глухонемая,  
 Плачет душа ее, всю пустоту обнимая  
 между зрачками и зеркалом, — облачком встала  
 счастливым.

Прошрое с будущим связаны слабою тенью,  
 еле заметным дви<sup>ж</sup>еньем внутри золотистого диска VV  
 да и мычанье пророчицы — только снаружи мученье  
 в ней же самой — тишина, тишина и свеченье.  
 Море луны растворенной к лицу придвигается близко.

Прошрое с будущим — словно лицо с отраженьем,  
 словно бы олово с медью, сливаются в бронзовом  
 веке.

В зеркале бронзы — не губы ль с больным шевеленьем?  
 Не от бессонницы ли эти красные веки,  
 или же отсвет пожара? Не Троя кончается — некий  
 будущий город с миллионным его населеньем.

---



Вечен Бог, творящий праздник  
даже смертию своей.  
Умирает соучастник,  
ученик его страстей.  
Но цветами воздух полон.  
Между стеблей заплетен  
свет с веселым произволом,  
с телом гибким и глаголом  
жизнью связанных времен!

---

ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА

Что  
✓ Христос

Вспомни заработок мутный -  
и крестьянского труда  
мука, посолонь, звезда  
вспыхнет искрой изумрудной.

Нет загадочней зерна  
под землею смертью света,  
зерню Нового завета  
смертных ночь озарена.

И стоит под крышей хлева,  
над соломенной дырой  
точка вечности сырой -  
дух навоза, глины, хлеба.

---

88.

Когда с Никольской колокольни  
Ударят тонкие часы,  
забудешь, Господи, как больно  
нас время бьет. Но так чисты

прикосновенья меди к ветру!  
И звон, скользящий вдоль канала,  
подобен ~~железу~~ точному ответу  
на тьму невысказанных жалоб.

---

ИНОК

Как далеко спокойная аскеза  
 святого на скале.  
 Березовая кровь сочится из надреза  
 на призрачном стволе.  
 Как зелен сок, исторгнутый из тела,  
 родившейся во мгле  
 молитвы Господу - единственного дела,  
 что держит на земле.

Он поднимает черные ладони,  
 Лицо его - в золе.  
 Вокруг него - огня бушующие кони.  
 В насилии и зле  
 история течет, но время на иконе  
 есть инок на скале.

Я, Господи, стою, и губы мои влажны  
 от сока или слез,-  
 возьми же голос мой, возьми же мой протяжный  
 прозрачный лес берез.



Не без лукавства— не бойся— не без лекарства  
каждая боль— не подарок небесных долин,  
где серебрится, волнуясь, холмистая паства,  
где одинокий пастух от растения неотделим,  
от разрастанья ветвистого дерева звука....

Дудка простая! Ты саженец влажной земли —  
произрастаешь из губ не без боли. Но дольше  
продли

тень свою, музыка, — пусть не кончается мука  
дерева жизни, обнявшего нас многоруко,  
дерева, где мы и тяжесть и смысл обрели!

Не без улыбки— подумай— не без укора:  
каждая боль не умеет замкнуться собой,  
всякое дерево крика становится рощицей хора,  
овцы теснятся к подножью горы голубой.

---

## Пир

Жирных цветов ярко-красные рты  
влагу прозрачную взгляда  
жадно пригубили — не отстранить.

Что же ты, зренье, не радо,  
что же не счастливо ты  
самой возможностью жить?

Я не смотрю, и опущены веки.  
Багровые тени мелькают  
хищными вспышками тьмы.

Даже и в памяти не отпускают  
кровососущие губы — навеки  
жертвы цветов шевелящихся — мы!

Преображение в красноголовых,  
в отяжеляющих стебли свои  
болью и жизнью чужой —

самая чистая форма любви,  
освобожденной от жеста и слова,  
тела земного, души неземной.

Нечему слиться и не с чем сливаться!  
Есть обращение виденья в свет,  
судорога перехода,

оборотней бесконечное братство,  
вечное сестринство — Смерть и Свобода,  
пир человекоцветов.

---

32.  
Крылья бездомности. Свист. Леденящий брезент.  
Как ненасытна продольная флейта заката!  
Гонит сквозняк — и колена его козловаты —  
гонит по улицам черную ноту легенд.

Кто-то хоть вишенкой... Я же — значком, запятой  
в горле чирикнул, по жерлу прошел перспектив.  
Все не гонимы — блаженны и режущей музыкой живы,  
хлопаньем рваным, палаточных дел суетой.

Племя, должно, бедуинов. Двуструнный трамвай  
сопровождает порыв духовой и духовный.  
То-то и вспомнят нас, что суетливо-греховны  
были — но все-таки были. И значит, играй!

Перед финальной каденцией века вздохнет  
глубже флейтист, собирая остатки дыханья  
для заключительной фразы, для краткого чуда  
звучанья  
после эпохи молчания или длиннот.

Не пропадет ни одна, не умрет ни один  
голос живой — и любая звучавшая нота  
птичьей оденется рванью, в лохмотьях воскреснув  
полета  
для завершенья божественных длин.

---

Уршич Ков

Прекрасных столько слез проглочено впустую!  
Я опускаю позолоченную цепь  
с неласковых небес на землю, в мастерскую  
разбившихся минут и сломанных стрекоз.

Но боязно смотреть, как сыплются осколки  
между тяжелых рук часовщика. ✓  
Последний летний дождь— нежданный и недолгий,  
а блики с мокрых щек до смерти не стереть!

Кто хаос приведет в какой-нибудь порядок?  
Чьи звенья памяти согласно зазвенят?  
После дождя— хрустальный воздух радуг,  
оптический обман безрадостных высот.

---



## НЕ ПЛЕНЯЙСЯ

Не пленяйся ... /а слово-то, слово!/  
Что за твари в ловитве полей!  
Не пленяясь свободой ничьей,  
ни чужой полнотою улова,  
лишь о том, что душа не готова  
в путь воздушный- о том пожалей.

Не пленяйся ... Но точно затвержен,  
точно сам дословесно в плену,  
повтори: Проклинаю- прильну  
к прутьям клетки! заржавленный стержень -  
повтори - чуть не с нежностью держим,  
чуть не флейтой. Не дуну - вздохну.

Зашевелится снег на ладони,  
точно внутренне одушевлен.  
Что вдали? покрасневшийся гон?  
лай? охотничий рог? пар погони?  
Кто за нами?- собаки ли, кони?  
Все не люди. Дыхание. Сон.

Не пленяйся прекрасной гоньбою,  
рваным зайцем мелькая в кустах!  
Ты не жертва- создатель, твой страх -  
только снег, возмущенный тобою,  
только флейты фригийского строя  
проржавелый мороз на устах!

Только Слова желая - не славы,  
не жалея о железах тюрьмы,  
где язык прилипает шершавый  
к раскаленным решеткам зимы.

---

Ты говоришь об истоках. Я верю.  
Деревья, как реки,  
впадают в зеленое море устами —  
глагольные связки  
Между землею и небом.

Оже глаголеши!  
Логос расширенно дышит.  
На четырех элементах столешнице-слово  
держится, — как на деревянных подпорках.  
Шитая золотом скатерть.

Сад ли? Досчатые длины?  
Цветущая стружка все тоньше.  
Колышки вбиты. Устроено место для пира.  
Нелюди вышли — деревья приходят, садятся.  
Ведро, полное ягод.

Празднуем. Лопнуло солнце в стаканах.  
В сплетении солнечно-спелом  
веток — о чем ты? — пульсирует, мечется слово.  
Мне далеко — я сказал — и прибавил  
что молчалось, не пелось.

Ломкая жизнь, отойди! говорят об истоках.  
Ровно бескостная жидкость  
меня пронизала — смешалась  
с чудом дыханья животным.  
Восстану — внемлю и вижу!

---

Прекрасен лоб, когда обезображен  
крылоподобной складкой  
от мысли, горестной, не сладкой,  
сплетающейся с пасмурным пейзажем.

Душа захвачена любовной этой схваткой  
природы мысли с мыслящей природой,  
чей поцелуй тысячеротый  
сквозит болотной лихорадкой.

Я спрашиваю: ежели развяжем  
печальный узел, будет ли свободой  
то состояние с любовью и работой,  
где самый воздух грустью не окрашен?

Я спрашиваю— если бы украдкой  
не посмотреть в окно /хотя бы с неохотой/  
как был бы вид внезапной смерти страшен!

Но синяя гряда небесных башен,  
но тело, сотрясаемое рвотой,  
но мысль, источенная чернью и чахоткой.

---

## В БОЛЬНИЦЕ

Тесемки рубашки больничной  
нездешней рукой теребя  
на горле— увидишь себя  
надломленной веткой масличной,  
и ржавой качаем рукой,  
деусмысленный внемлешь покой.

Покойнее, чем унижение  
клеймом на подушке твоей,—  
качание тысяч ветвей  
над ямой головокруженья,  
скрип форточки, звякнувший шприц  
о столик стеклянных сестриц.

Безлюдней, чем в общих палатах,  
вместилищах серых белья, —  
библейская роща твоя  
и крики деревьев крылатых  
о братстве лежащих рядком,  
о сестринстве— с красным крестом.

Добавь— с милосердием. В омут  
с тупым ожиданьем гляди,  
где листья кружимы,— кишат на груди  
казенные черви тесемок,  
и ржавые пятна сорочки твоей  
земли замогильной больней!

---

## КНИГА В СУМЕРКАХ

И в сумерках блаженно полуслеп,  
со шрифтом неразборчивым сливаясь,  
я уходил за буквами вослед,  
со мною только звуки оставались.

И комната, как некий долгий "О",  
округлив губы, длилась в изумленьи  
перед упавшей книгой на колени,  
так жадно дышащей, лежащей так светло.

Тогда-то наступило время чтенья.  
Я стал предметом тайных перемен-  
как тени переходят в тени стен,  
черту между собой и собственной тенью

Я перешел, усвоивши язык  
не камерный и не сиюминутный -  
но вечной жизни, движущейся смутно  
сквозь белые тела еще не ставших книг.

Не жизнь писателя, кто их напишет, нет,  
не жизнь филолога, кто их прочтет когда-то,  
но письменность сама, как женщина, разжата  
перед усиьем тьмы невысказанных лет.

И тайна сумерек есть тайна акта плоти,  
удар и завянь мира из ничто -  
не темного, о нет, скорей, как решето,  
сквозящего сквозь ночь, сквозь вой на мертвой ноте!

Все чаще встречаю на улицах — обозначаюсь —  
уехавших далеко так, что возможно  
о них говорить, не скрывая неловкую грусть,  
как мы говорим об умерших — и бережно и осторожно.

Все чаще маячат знакомые спины вдали,  
а если взглядеться, то сходством обдаст, как волной  
и страх тошнотворен при виде разверстей земли:  
своих мертвецов отпускаешь, царство иное? ✓

И море, и суша добычу назад возвратив,  
издохшими пятнами краски заляпали глубус, ✓  
где все полушарья для здешнего жителя — миф  
о спуске Орфея за тенью в античную пропасть. ✓

Куда же уводишь меня, привиденье, мелькнув  
в апраксинодворской, кишасей людьми галерее,  
где хищницы — птицы в лице мне нацеленный клюв  
и страха разлуки, и страха свиданья острее?

Маячу в толпе, замирая, а рядом орет  
и хлещет прохожих крылом аллегория власти.  
Все чаще ловлю себя, что составляю народ  
уже нереальный, еще не родившийся, к счастью ...

И падаю в шахту, пробитую в скалах — не сам  
вослед за ушедшим, но центростремительной силой  
толкаем узнать, каково ему, смертному, там  
у края земли, за границей, верней, за могилой. ✓

---

Жить на закате глаз, в изнеможеньи гласных.  
О господи, как ненависть нежна!  
И женственные эти имена:  
Россия, Смерть, Нева, но пуще — тишина  
в любых глазах. Они с любовью гаснут.

Я напишу: звезда. И вычеркну. И вставлю  
иглу в зрачок. Созрело острие.  
Кем зрение проколото мое?—  
не теми ль, кто ушел в иное бытие,  
через канал Обводный переправлен ?

Жить на закате глаз, на стоке вод, на лязге  
уключины-Харон! я вечно бы глядел  
в струящийся /строительный ли?/ мел  
не твоего лица— но тех, ушедших за предел,  
и этих— обращающихся в маски.

Заглядывать в глаза созданьям людных улиц  
или в гнилой канал смотреть с моста ...  
Благословенны гиблые места,  
где жизнь моя текла невидяще—пуста,—  
живой сосуд, куда умершие вернулись!

---

## ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

То скученность, то скука- все тоска.  
Что в одиночестве, что в толпах- все едино.  
И если выпал звук - изменится ль картина  
не мира даже - нашего мирка?

И если ты ушел бог ведает в какую  
хотя бы сторону- не то чтобы страну,  
кто вспомнит о тебе, так бережно тоскуя,  
как берег по морскому дну?

Обитый пробкой Пруст мне вспомнился намедни-  
искатель эха в области пустот,  
последний рыцарь памяти последней,  
резиновый фонарь он опустил под лед.

Подумать, как черно и холодно, куда  
ни обратишь разбухнувшие очи!  
Чем движется песок в часах подводной ночи -  
одной ли тьмой, одним ли хрустом льда?

Что стоит человек, во прахе путешествий  
пересыпаемый сквозь горловину сна -  
не горсточка ли песка, зачерпнутой со дна  
залива, обнажившегося в детстве?

Что стоит человек - <sup>не</sup> точению времен  
тончайшая струящаяся мера?  
Согрета ли в руках запаянная сфера,  
где памяти источник заключен?

И если так тепла- чьи пальцы согревали?  
Чьих- мутный оттиск на стекле?  
об этом помнил кто-то. Но едва ли  
я вспомню кто. И как бы ни назвали -  
все именем чужим, все в спину, все вослед ...



## КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ

В тихом, еле заметном позоре  
каждодневного долженствованья  
как бы нежился Канта, если б не жило плоское море  
с плоским небом — две части коробочки-зданья?

В этом странноприимном дому  
уподобился шкафу мой дух, уподобился шкафу  
в двух кварталах от ратуши, с видом на склад  
и тюрьму,  
с точным ходом часов или холодом точных метафор!

Что я должен? кому задолжал и когда?  
Точно чайка вдоль серого пирса, вдоль мола,  
точно в каменных складках вода —  
бесконечный прообраз бетонного пола —  
убегая, стоят ...

Вот пакгауз просторен и пуст,  
пахнет плесенью бывшего хлеба и йодом  
бывшей крови, что змейкой из мраморных уст  
истекает на свет, на свободу.

Запрокинутый мой подбородок лежит над водой,  
и волна его лижет, и брызги — народец веселый —  
разноцветной взлетает толпой.

О разбиться бы в праздник об угол, о глыбу,  
о голый

выступ суши! расплющенной каплей сползти  
по губам синемраморной Балтики! С горсточкой соли,  
оседавшей кристаллами города, с горсточкой соли  
Канта выходит из дома вседневную тяжесть нести  
с потаенной свободой воли.

Мимо ратуши. Мимо дворцовой ограды.  
Мимо тортообразного замка на бледном лице.  
Вдоль портовых строений, тюрмы, циклопических  
ног  
волнореза бегущего — с черной фигуркой в конце!

Вот и смерть недалеко. Пустой и просторный  
пакгауз.  
Заржавелые крючья. Кому я и что задолжал?  
Камни, камни и камни. По камням бегу —  
задыхаюсь,  
высыпается соль на ладони, кренится барочный  
портал,  
оседает на мокрый песок — оседает  
лоскутами и пятнами пены ...  
И в холодных глазах лишь пустынное море витает,  
лишь холодное небо и голые стены.

---

## ОБРЯД ПРОЩАНИЯ

Обряд прощания. Стеклянного дворца  
текут под солнцем тающие стены.  
Все меньше нас. Все тоньше перемены  
в погоде и в чертах лица.

Я вынужден принять условия игры  
и тактику условного пейзажа.  
Почти не осязаемая пропажа,  
но память задает прощальные пиры.

С красотью, настолько явной, что  
бессильны обвинения в безвкусьи,  
воссоздается мир, куда вернусь я,  
не сняв сапог, не расстегнув пальто.

Витиеватый парк, ограда, жар холмов.  
И пиршественный стол длиной до горизонта,  
где синий город облачного фронта  
или далеких гор истаявший дымок.

Итак, мотив прощанья окружен  
приличествующим- и даже слишком- фоном.  
Но стол уставлен бульканьем и звоном  
невидимых стаканов, но смешон

обычный жест: округлена ладонь,  
приподнят локоть, воздух полусогнут.  
Цилиндрик пустоты сжимают пальцы- дрогнут,  
как декорации, едва их только тронь.

Фанерные деревья- чуть задень -  
на луг досчатый валятся со стуком,  
и холм уходит, пожираем люком,  
и пиршественный стол, скрипя, втекает в тень.

Обряд прощания не примет красоты.  
При всей театральности он пуст и непригляден,  
и выглядит добро собраньем дыр и пятен,  
стеченьем голых стен, где обомлеешь ты,

как рыцарь над раскрытым сундуком.  
Считать потери— звонкое занятие,  
достойное и звания и платья,  
ветшающего исподволь, тайком.

Все меньше нас / поэтому любой  
себя не назовет единственным— но многим/.  
Теряя, обретаю в эпилоге  
Ничто— стеклянный пол и купол над собой.

Так Леонардо в комнате зеркал  
Обряд прощания довел до высшей точки,  
где множественный образ одиночки  
в распаде и дробленьи возникал.

---

## ФОРМА

Какую форму примет нелюдим,  
когда гостей спровадит к полуночи?  
Он станет комнатой, тюрьмой многоточной,  
сам за собой почти не уследим.

На кухню выйдя, газовой плитой  
почувствует себя— и вспыхнет, и согреет  
змеиный чайник, или же, скорее,  
нальется, как вода, гудящей теплотой.

Нет, книгу он раскроет, раздробясь  
на праздничную множественность литер —  
но кто его прочтет и кто с ним станет слитен?  
с кем он войдет в мистическую связь?

Да, книгу от отложит. Да, глаза  
покроет плесень древней полудремы,  
и сам себе уже полужнакомый,  
он выпадет из мира, как слеза.

В том-то и дело: тому, кто остался одним,  
лестница Якова снится, железная снится дорога.  
Вот он по шпалам, по шпалам, по шпалам гоним  
к точке скрещения рельс, к переменному символу  
Бога.

Кажется, выше, и выше, и выше — и вышел,  
осталось немного.

Красный кирпич. Полустанок стоит перед ним.

Он остановится. Как посох, проросла,  
ветвясь и зеленея, точка схода  
двух параллельных линий. Гарь. Свобода.  
Оживший гравий. Дождь. Куски стекла,  
неотличимые от капель. Сколько глаз  
из мусорной земли взирают на него:  
какую форму примет он сейчас?

.....

Озираясь, он встретится взглядом со мною.  
Нет! — я крикну ему, нету здесь ни тебя,  
ничего твоего!

Над роялем кричал Пастернак, а не поезд.  
Истаскан

всякий путь по железной дороге— любое  
с ней сравненье— застывшего сна вещество,  
липнет к пальцам, подобное масляным краскам!

Да, он книгу отложит. Окунет  
в небытие расслабленные кисти —  
художник—нелюдим, вещей движений, истин  
пустынноеместилище и рот,

готовый прилепиться ко всему.  
Он сам ничто. Ему ни дара слова,  
ни зренья острого, ни разума больного  
природой не дано— лишь окунаться в тьму,

лишь пить и шлепать лошадиными губами  
по черной нарисованной воде,  
гонять форель вокзальных фонарей ...

Он примет форму зала ожидания,  
на рельсах дохлой кошки. И нигде.

---

Пью вино архаизмов. О солнце, горевшем когда-то,  
говорит, заплетаясь, и бредит язык.

До сих пор на губах моих— красная пена заката,  
всюду отблески зарева, языки сожигаемых книг.

Гибнет каждое слово— но весело гибнет, крылато,  
отлетая в объятья Логоса—брата,

от какого огонь изгоняемой жизни возник!

Гибнет каждое слово.

В рощах библиотек

опьянение былого

тяжелит мои веки.

Кто сказал: катакомбы?

в пивные бредем и аптеки!

И подпольные судьбы

черны, как подземные реки,

маслянисты, как нефть. Окунуть бы

в эту жидкость тебя, человек,

опочивший в гуманнейшем веке!

Как бы ты осветился, покрывшись пернатым огнем!

Пью вино архаизмов. Горю от стыда над страницей:

ино-странница мысль развлекается в мире ином,

иногда оживляя собой отрешенные лица.

До бесчувствия— стыдно сказать — умудряюсь

напиться

мертвой буквой ума— до потери в сознании моем

семигранных, сверкающих призм очевидца.

В близоруком тумане,

в предутренней дымке утрат —

винный камень <sup>строений</sup>

и заспанных ~~камен~~ <sup>глаз</sup> виноград.

Труд похмелья. Похмелье труда.

Угол зрения зыбок и стал переменчив,

искажающей линзой речи

расплющены сны—города.

Что касается готики — нечем,

нечем видеть пока что ее,

раз утрачена где-то вражда  
между светом и тьмою ...  
Наркотическое забытье  
называется, кажется, мною!

Брезжит в окнах, из черных клубится подвалов.  
Пью вино архаизмов. Торчу на пирах запоздалых.  
Но ~~еще~~<sup>еще</sup> впереди— я надеюсь, я верую!— нет,  
я хотел бы уверовать в пепел хотя бы, в провалы,  
что останутся после— единственный след  
от погасшего слова, какое во мне польхало!

Гибнет голос— живет отголосок.  
Щипцы вырывают язык,  
он дымится на мокром помосте из досок,  
к сапогам, распластавшись, прилип.  
Он шевелится, мертвый, он пьян  
ощущением собственной крови.  
Пью вино архаизмов, пьянящее внове,  
отдающее светом оцепенелой любви,  
воскрешением рая!



не полутьма нас пугала, но видимый сквозь полутьму  
остров— кусок штукатурки, остаток от росписей храма.

Там языками эфирными смол  
куст обращался к пророку,  
стертому временем, падшему в реку,  
что обтекает Шеол.

---

## НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Художник слеп. Сорокодневный пост  
сплетен, как тень висячего моста  
из черных водорослей и шершавых звезд.  
Он сорок дней не разомкнет уста,  
пока пустой реки не перейдет  
по доточке колеблемой, пока  
босой подошвой не оставит след  
на зыбкой памяти прибрежного песка—  
тогда и в нем прозреет память. Лет  
на тысячу назад он обращает взор—  
и перед ним— неопалимый куст,  
и образ храма светел, как костер  
среди бела дня. Но храм пока что пуст.  
Краски пожухнут— обвалятся лица святых.  
Что остается — свободных гиматиев складки,  
стол да кувшин, да внезапное пламя в кустах—  
словно бы кто промелькнул, одинокий и краткий.  
Не уследят за движеньем зрачки,  
чудится ль что с непривычки,  
сослепу? Шурк зажигаемой спички.  
Боль обожженной руки,  
Два времени войдут в единый миг,  
соединяясь огненным мостом  
живого языка сожженных книг  
или собора с убраным крестом —  
два времени и сорок сороков  
любивших братьев, плачущих сестер.  
Нет, вера никогда в России не была  
мгновеньем настоящим — но раствор,  
на миг скрепивший два небытия,  
где сам художник — цепкий матерьял —  
распластан по стенам, распаду предстоит,—  
ведь сорок дней он губ не растворял!  
.... и говорили, Бог знает о чем и кому,  
лишь бы наполнить собою пустые объемы —

## НАТЮРМОРТ С ГОЛОВКОЙ ЧЕСНОКА

Стены увешаны связками. Смотрит сушеный чеснок с мудростью старческой. Белым шуршит облаченьем, словно в собраньи архонтов судилище над книгочеем-шелест над свитком значков с потаенным значеньем, строкот письмен насекомых и кашель и шарканье ног.

Тихие белые овощи зал ~~з~~полняют собой. ✓  
Как шелестят их блокноты и губы слегка шелушатся. ✓  
В белом стою перед ними— но как бы с толпою смешаться, юркнуть за чьюнибудь спину— ведь нету ни шанса, что оправдаюсь, не лягу на стол натюрморта слепой.

Итак, постановка  
Абсолютную форму кувшину  
гарантирует гипс. Черствый хлеб,  
изогнув глянцевитую спину,  
бельмо чеснока, бельевая веревка —  
сообща составляют картину  
отрешенного мира. Но слеп

каждый, кто прикасается взглядом  
к холстяному окну.

Страшен суд над вещами,  
творимый художником—Садом!  
Тайво, из-за спины загляну:  
он пишет любви завещанье —  
ты — картонными кущами и овощами  
воевала с распадом!

Но отвернемся, читатель мой. Ветер и шопот сухой.  
В связках сушеный чеснок изъясняется эллинской речью.  
В белом стою перед ними— и что им, за что им отвечу?  
Да, я прочел и я прожил непрочную чернь человечью —  
и к серебристой легенде склонился, словно бы к пене  
морской.

Шедест по залу я слышу, но это не старость.  
Так шелестит, исчезая из ладони моей,  
пена давно пересохших, ушедших под землю морей..  
Мраморным облачком пара, блуждающим островом Парос  
дух натюрморта скользит— оживает и движется парус-  
там не твоя ли спина, убегающий смерти Орфей?

И не обернуться.  
Но и все, кто касался когда-то  
бутафорского хлеба, кто пил  
пустоту, что кувшином объята,—  
все, как черные губы, сомкнутся  
в молчаньи художника брата,  
недаром он так зачернил

дальний угол стола.  
Жизнь отходит назад  
дальше, чем это можно представить.  
Но одежда Орфея бела,  
как чеснок. Шелестя и листая —  
между страницами памяти черствые  
бабочки спят —  
шелестя и листая,  
на судей он бельмы уставит —  
своей невидящий взгляд.

---